



В. А. ГОФМАН

Язык Пушкина



I

Сенковский — барон Брамбеус — писал Пушкину по поводу «Пиковой дамы»:

«Вы создаете нечто новое, вы начинаете новую эпоху в литературе... Бестужев¹, конечно, имеет много заслуг: у него прекрасная мысль, но всегда фальшивое выражение: не он создал прозу, которую все, от графини до купца второй гильдии, могли бы читать с одинаковым наслаждением. Всеобщая русская речь отсутствовала в нашей прозе, и я нахожу ее в вашей повести...» (письмо по-французски).

«Новая эпоха в литературе», «всеобщая русская речь»... — вот наиболее простое и краткое выражение самого главного, что связано с именем Пушкина в истории нашего литературного языка. Уже современники, по крайней мере, наиболее чуткие, прекрасно осознавали новое, небывалое качество пушкинского языка, хотя они вряд ли подозревали о подлинной широте его всеобщности. Характерно, что для шефа популярнейшей «Библиотеки для чтения» социальный круг «всех» замыкался в купце второй гильдии... Дальше обрывался глаз Сенковского. Да и в самом деле, очень ограничен был социально круг читателей в пушкинское время. Общеполитический характер языка зрелого Пушкина должен был выдержать испытание временем и пройти историческую проверку. И мы можем в полной мере оценить величие творческой победы Пушкина и ее значение лишь в свете дальнейших судеб русского литературного языка.

II

Что же конкретно означает утверждение, что до Пушкина «всеобщая русская речь отсутствовала в нашей прозе?» Ответ на этот вопрос неизбежно уводит в глубину истории литературного языка.

¹ А. А. Бестужев-Марлинский — автор повестей, имевших огромный успех

Феодальное средневековье с его раздробленностью, экономической, политической и культурной, создало и использовало книжный язык, совершенно разобщенный с этнической речью, чуждый и очень мало понятный массам. Это был церковно-славянский язык, генетически восходивший к одному из древне-болгарских говоров и заимствованный с Балкан еще в X в. В течение семи столетий он пребывал на положении классового литературного «диалекта», священного и фетишизированного «для разговора с богом», т. е. закрепленного, главным образом, за клерикальной идеологией.

Формирование русской нации и русской государственности с конца XVI в. и особенно интенсивно со второй половины XVII в. ознаменовалось глубоким кризисом и последовавшим распадом феодального литературного языка. Идеологический перелом заставил его потесниться и сократиться, противопоставив ему влияние издавна претендовавших на литературную роль различных письменных «диалектов», которые формировались на этнической речевой основе и обслуживали «низшую» демократическую ступень литературы: они образовывали замкнутые стилистические системы языка делового и технического, бюрократического, публицистического, повествовательно-беллетристического. Их элементы вторгались и распатывали церковно-славянскую систему, а сами они испытывали влияние последней, занимавшей до XVIII в. исключительные господствующие высоты литературы под флагом славяно-российского языка. Все эти «диалекты», отчасти смешиваясь и борясь друг с другом, испытывали в XVII и XVIII вв. сложное многоразличное влияние других языков — польского, украинского, латинского, немецкого, голландского, французского и др., — влияние, обусловленное новыми общественными потребностями.

Современники Пушкина, оглядываясь на прошлое, не без основания отмечали это хаотическое движение языка в вихре разнороднейших влияний, указывали на «смешение языков — настоящее вавилонское столпотворение» и на «макароническую тарабарщину» (Н. Надеждин). Не было еще структурно-целостного, общего и единого литературного языка. И, во-вторых, несмотря на внутренний распад феодально-литературного языка и чрезвычайно возросшее значение этнической стихии, литературная речь оставалась обособленной, оторванной от народной. И эта важнейшая черта была тоже осознана современниками Пушкина: «Петр Великий хотел нового книжного языка, для которого составил азбуку. Опять появился к и ж н ы й язык, уже второй, и основанием ему послужил приказный, или деловой, с примесью части разговорного, множества новых слов для новых идей и предметов и щегольством иностранными словами и фразами, более всего немецкими. Язык прежней литературы принять было невозможно: русские вместе с церковными буквами, отказались от него, предоставив его только духовному красноречию...» (Н. Полевой).

Действительно, хотя русское государство дворян-помещиков и купцов в связи с усложнившимися функциями управления и общественной жизни непосредственно содействовало при Петре I ломке старой литературно-языковой системы, однако создаваемый новый книжный язык был языком

бюрократии, но не нации, государственным, но еще не национальным, и не для всей литературы, а только для определенной ее части. Влияние этого своеобразного книжного «диалекта», которым владела и распоряжалась самодержавно-крепостническая бюрократия, повернувшаяся спиной к церковно-славянскому языку, прошло через XVIII в. в XIX и опутительно сказалось в пушкинское время.

Следует иметь в виду языковую позицию, теорию и практику таких чиновных литераторов, как карамзинисты Уваров и Блудов. И больше того: ничего нельзя понять в грамматической, нормализаторской работе Н. И. Греча, в направлении и характере его знаменитой «Грамматики», о которой Я. Грот заметил, что она кодифицировала нормы карамзинского языка, и в то же время — что она «во многом произвольна и условна», если не учесть, что перед лингвистическим взором Греча предстал не столько «образец» литературной речи в виде прозы Карамзина, сколько речевой узус петербургской бюрократии. Нормы, выводимые Гречом, явно противоречили даже практике Карамзина. Но они не были произвольны. Они имели социальный адрес, достаточно влиятельный, чтобы трусливый и благонамеренный Греч попытался навязать их русскому литературному языку.

Неудивительно поэтому, что и в тридцатых годах, после смерти Пушкина, продолжалась еще борьба против бюрократического влияния на литературный язык, продолжался поход против слов *сей* и *оний* и стилистически однородных с ними: *таковой*, *вышеупомянутый*, *а потому*, *поелику*, *якобы* и других. Эти слова воспринимались как типичные представители бюрократического книжного «диалекта». «Писали их думные дьяки, писали вы, и между тем ни дьяки, ни вы не могли пустить их в оборот: они все остаются на бумаге, и русская речь их не приняла. Помощью этих негодных слов вы так изуродовали русский язык, что создали себе отдельный книжный диалект...» (О. Сенковский). Дело было, конечно, не только в лексике, но и в синтаксисе «подъяческой мертвечины», в пристрастии к оборотам вроде причастия с личным местоимением в творительном падеже или в длинной путанной связи предложений, «скованных старыми кандалами» разнообразных союзов. Задача заключалась в том, чтобы отнять «у кузнецов риторического периода возможность спаивать предложения средствами, чуждыми настоящему языку, в противность природному течению русской речи», и чтобы опрокинуть «весь этот искусственный период, который лежал камнем на груди нашего языка и не позволял ему двигаться свободно, а тем менее иметь национальную походку» (О. Сенковский).

Этот «отдельный книжный диалект», сложившийся из элементов церковно-славянских, профессионально-приказных и из элементов бытовой речи чиновничества, воспринявший латино-немецкие и некоторые другие иноязычные черты, был все же в значительной мере периферийным явлением по отношению к языку собственно литературному, — по тем временам — к языку литературы теологической, официально-витийственной и художественной. Но и здесь встречается нас то же структурное качество — диалектное разделение, и не только в том смысле, что недво-

рыцарская литература резко отличалась по языку от дворянской: разделение пло и дальше, и Пушкину пришлось вплотную столкнуться с ним.

III

Петровское время и языковая деятельность самого Петра I (борьба с феодально-литературным языком и гражданское письмо, широкая переводческая деятельность и широкий свободный поток западно-европейских заимствований, резкий сдвиг в лингвистических взглядах) представляли существенный шаг вперед по пути развития нового литературного языка, хотя и не могли еще непосредственно привести к его формированию на широкой национальной основе. Последовавшая затем полуфеодалная дворянско-крепостническая реакция надолго затормозила свободное и широкое литературно-языковое развитие. Легко заранее представить себе, какой обкарнанной и ублюдочной должна была выглядеть всякая попытка движения навстречу национально-языковой консолидации.

Вынужденный уступать и перестраиваться под давлением тенденций новой буржуазной эпохи общественного развития, господствовавший класс стремился приспособиться к новому «просвещению века», закрепились на новых позициях. С другой стороны, при благоприятном соотношении сил, он переходил в контрнаступление, чтобы вернуть, хотя бы наперекор истории, свои былые позиции, старое положение вещей. Развитием передовых тенденций петровской эпохи в области языка XVIII век был обязан прежде всего В. К. Тредьяковскому.

До пятидесятых годов он энергично требовал широкого развития литературного языка на национальной основе с полным отказом от феодальной «славенщины». В «Слове о богатом, различном, искусном и несходственном витийстве» Тредьяковский развил основное положение: «всем одного и того же общества» надлежит пользоваться во всех случаях общественной практики «только что природным языком». Даже для самой высокой литературы он призывал «не употреблять мнимо высокого славенского сочинения», потому что «истинное витийство может состоять одним нашим употребительным языком». Но впоследствии, учитывая политическую обстановку и боясь служебных неприятностей, Тредьяковский стал бить отбой. В полемике с Сумароковым он, в противоречие своим прежним взглядам, заявил, что в поэтическом жарге оды «должно удаляться от обыкновенных народных речей» и валцилал «избранные», т. е. звяжные слова, упрекая Сумарокова в незнании «славенского языка».

Действительно, литературно-языковая реакция в XVIII в. сказалась и в частичной реставрации прав «славенщины» и в новом влиянии феодального принципа диалектного разделения. Все это и нашло себе теоретически четкое выражение в знаменитом трактате Ломоносова «О пользе книг церковных» (1755).

Несмотря на то, что Ломоносов провел грамматическое отделение русского языка от церковно-славянского («Грамматика») и тем самым «санкционировал» русский язык впервые после иностранца В. Лудольфа, «который в 1696 г. в своей «Grammatica Russica» констатировал разрыв между книжным языком и «народным диалектом», — несмотря на

это автор теории «трех штилей», уступая реакционной идеологии, предоставил «русскому простонародному языку» лишь ограниченные права одного из литературных диалектов и притом еще «низшего». «Славено-русский» диалект, напротив, закреплялся за «высокой» литературной «материей», за высоким, а не низким штилем.

Господство «русского простонародного языка» утверждалось и проводилось на практике в «низких» родах литературы, «каковы суть: комедии, увеселительные эпиграммы, песни; в прозе — дружеские письма, описания обыкновенных дел». «Славено-русский» диалект сохранялся безраздельно в «высокой» поэзии, «в героических поэмах, одах, прозаичных речах о важных материях», не говоря уже о религиозных сочинениях. Этот диалект представлял собою, по Ломоносову, несколько модернизованную систему церковно-славянской речи, систему «славено-русских речений, т. е. употребительных в обоих наречиях и из славенских россиянам вразумительных и не весьма обветшалых». Между «высоким» и «низким» штилем располагался «средний» для выражения средних, «по важности материи», родов литературы. Его языковой базой был особый, третий литературный диалект. В «средних» родах литературы — «стихотворные дружеские письма, сатиры, эклоги и элегии», а также «театральные сочинения», в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому представлению действия», «историческая и научная проза», — должен употребляться «средний штиль», складывающийся из «речений, больше в русском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные».

Таким образом, заново утверждалось иерархическое, отражающее словную лестницу разделение литературной речи на диалекты, поскольку определенный стиль опирался на особый диалект, как в средние века и, кроме того, почтеннейшее место отводилось «славенщине».

Настоящая на принципе разделения и обособления, Ломоносов указывал на «необходимость разбирать высокие слова от подлых» и даже совсем по-феодалному подчеркивал, что «по важности освященного места церкви божией и для древности чувствуем мы в себе к славянскому языку некоторое особое почитание». Вместе с тем, он вовсе исключает из литературы «презренные слова», т. е. крестьянские, «чтобы не опуститься в подлость».

В самом начале XIX в. ломоносовские принципы оказались знаменем воинствующей литературно-языковой реакции в лице «беседчиков-славянороссов» во главе с А. С. Шишковым. Утверждая, что церковно-славянский язык «есть корень и начало русского языка», Шишков открыто восстал против нового пути развития. «Желание некоторых новых писателей сравнивать книжный язык с разговорным, то есть сделать его одинаким для всякого рода писаний, не похоже ли на желание новых мудрецов, которые помышляют все состояния людей сделать равными». Требования еще Тредьяковского — единый и общий язык «для всех одного общества» и «для всякого рода писаний» — оказались для Шишкова политически опасной ересью. В другом месте Шишков писал с такой же

откровенностью: «Презрение к вере стало сказываться в презрении к языку славянскому...» «Какое намерение полагать можно в старании удалить нынешний язык наш от древнего, как не то, чтобы язык веры, став невразумительным, не мог нигде обуздывать язык страстей...» Знаменательно при этом, что писать государственные манифесты Александр I поручил не Карамзину и никому иному, как Шишкову с его «истовым слогом...»

Этой феодальной реакции был дан решительный отпор. Сторонник «нового слога» П. Макаров в «Критике» на трактат Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге» писал, опровергая теорию и практику «славянофилов»: «Язык Ломоносова так же сделался недостаточным, как просвещение россиян при Елизавете было недостаточно для славного века Екатерины... Слог церковных книг не имеет никакого сходства с тем, которого требуют от писателей светских. Заметим единственно, что писатель, обязанный выражать отвлеченные понятия наук, изъяснять тонкости политики государственной и частной, показывать в живописных картинах общество и людей, может иметь надобность в словах и фразах, которых за 80 лет не было...» «Языком Ломоносова мы не хотим и не можем говорить, хотя бы умели... Высокий слог должен отличаться не словами или фразами, но содержанием, мыслями, чувствованиями, картинами, цветами поэзии... Сверх того есть еще важная причина не хотеть книжного языка: везде напоследок он сделался некоторым родом священного таинства, и везде там, где он был, словесность досталась в руки для малого числа людей».

Таким образом, Макаров, с глубоким проникновением в самую сущность литературно-языковой проблемы, сформулировал основные положения, выдвинутые ходом общественного развития в начале XIX в.: 1) «словено-российский» книжный диалект непригоден для современного литературного общения; 2) новый литературный язык должен быть равносильно-гибкой системой «средств изъяснения» науки, политики и художественных образов и, в связи с этим, 3) не должен как средневековый книжный диалект быть исключительно связанным с узко-определенным содержанием, кругом и характером идеи и, следовательно, 4) не должен служить замкнутой базой одного определенного стиля; категория стиля речи амплифицируется, отделяется от «языка», «диалекта», и литературный язык становится единой и общей базой различных стилей, так что, например; «высокий стиль должен отличаться не словами и не фразами...», а своеобразным использованием семантических ресурсов языка по связи с конкретным содержанием речи; наконец, 5) отвергается средневековый языковый фетишизм, а с ним заодно и принцип «книжного языка», т. е. обособленного от народной речи и являющегося узкоклассовым достоянием: языком «словесности для малого числа людей».

Но большинство из этих чрезвычайно смелых положений легло в основу литературно-языковой практики и было реализовано отнюдь не Карамзиным и карамзинистами, а Пушкиным, хотя дворянско-буржуазная традиция, закреплённая официальной старой наукой и школьными учебниками, донесла до нас облик Карамзина в ореоле «преобразователя»

языка литературы, несравненного «реформатора русского слога...» На самом же деле рассуждения Макарова уводили гораздо дальше действительных позиций Карамзина и его соратников.

Последняя попытка открытой феодальной реакции — шишковистов-«беседчиков» — повернуть вспять движение языка была отражена еще до Пушкина. Литературный язык решительно и бесповоротно оторвался



С картины худож. Чернецова

Гнедич, Жуковский, Пушкин и Крылов

от «ветхого якоря церковно-славянской письменности». Но это не означало широкой и глубокой национализации языка. Гоголь заметил, что «поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдрут на бале». То же самое следует сказать о литературном языке.

IV

Для верного понимания пушкинской позиции в борьбе за новый литературный язык очень важно прояснить черты так называемой карамзин-

своей реформы, тем более, что Пушкин начал писать именно «карамзинским слогом». Карамзинизм в «языке и слоге» — это непосредственно предшествовавший исторический этап, от которого оттолкнулся Пушкин.

Карамзинизм был последним ярким и влиятельным дворянским словом в истории нашего языка. Языковая деятельность Карамзина была последней активной попыткой затормозить развитие литературного языка на широкой национальной основе и направить его движение в русло интеллигентско-дворянской, светско-салонной исключительности. Вынужденные уступать и перестраиваться под напором буржуазных тенденций общественного развития, определенные слои крепостнического дворянства стремились пойти навстречу новому «просвещению века». В то время как наиболее передовые представители дворянства вольно или невольно содействовали национальной перестройке языка, другие хотя и создавали литературу, казалось бы, на национально-языковой почве, отказавшись от феодальной «славенщизны», но эта почва при ближайшем рассмотрении оказывалась очень тонким и тощим, искусственно препарированным и отгороженным слоем, для удобрения которого обильно использовались западно-европейские, французские заимствования в области словаря, синтаксиса, семантики, фразеологии.

«Национальный» резервуар ограничивался рамками дворянской обиходной речи — просторечия — да книжными элементами бюрократической и церковно-славянской традиции (замечу, кстати, что Карамзин гораздо благосклоннее, чем это принято считать, относился к «славенщизне», а в годы создания «Истории» обильно черпал из этого источника, скомпрометированного им в молодые годы). Все это пропускалось сквозь фильтр «хорошего вкуса», законодателем которого был аристократический и придворный салон; центром и душой салона выступала идеализированная светская дама, воплощавшая сословно-классовый критерий языкового отбора и литературных норм. Образцом служила литературно-языковая теория и практика французского дореволюционного дворянства с его салонной речевой культурой, резко обособленной от «вульгарного» и «низкого» языка буржуазии и, в особенности, крестьянства.

Точно так же отгораживаясь от народной речи, чтобы «не страдали уши» (*sans faire pater les oreilles*), наш «чувствительный» дворянский писатель, «которого читают дамы», не допускал в язык литературы ничего такого, что противоречило бы искусственно выработанной системе «элегантных» перифраз. Именно эта система освящалась требованием щадить уши дам, — тех самых, что, по Поголю, пугались вульгарно-грубого слова «я выморкалась», говорили «я облегчила себе нос» и гнушались выражением «стакан воняет» заменяя евфемистической перифразой: «стакан нехорошо ведет себя...» («Мертвые души»). Обращение к французскому языку за «средствами изящности» сплошь и рядом вызывалось стремлением избежать «грубости природного языка» и отгородиться от него. К правоверным карамзинистам полностью относится меткое замечание, сделанное некогда по адресу французских дворянских писателей эпохи абсолютизма: «Они считали, что хорошо писать можно только на языке, непонятном простому народу» (Дю-Беллей).

В начале двадцатых годов языку Карамзина и карамзинистов дал

суровую, но верную характеристику друг Пушкина В. К. Кюхельбекер: «Из слова же русского, богатого и мощного, сияется извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно-тощий, приспособленный для немногих язык, un petit jargon de coterie...»

Этот приспособленный для немногих маленький кружковой жаргон — своеобразная смесь «французского с нижегородским» — не мог, конечно, ни в какой мере удовлетворить назревшие литературные потребности. Еще сильнее прелюбопытствовала необходимость образования литературного языка на широкой национальной базе. Нарастало ясное сознание, что без народной массы нет нации, что без опоры на языкотворчество народной массы не может развиваться национальный язык и что процесс национализации литературного языка есть в то же время необходимый процесс его демократизации. Литературный язык должен быть «ознаменован печатью народности» — таков основной лозунг в двадцатых и тридцатых годах.

Во всем карамзинском периоде констатировали «полное отсутствие народности». Указав, что карамзинский язык это — «язык гостинных и будуаров» и что, «притирая и манера на французскую статью, Карамзин стер с языка всю выразительность и силу», Н. Надеждин в 1836 г. необычайно заострил вопросы борьбы за национально-литературный язык. Надеждин отвергает «усушвление русского языка церковно-славянским» и решительно отказывается признать в последнем «идеал усовершенствования нашего нынешнего слова». «Я не разделяю мнения тогдашних защитников старого слога, думавших спасти русскую литературу на ветхом якоря церковно-славянской письменности; но негодование их против нового слога было совершенно справедливо». Надеждин против мнения, что литература должна говорить языком высшего общества. «Никакое сословие, никакой избранный круг общества не может иметь исключительной важности образца для литературы. Литература есть глас народа; она не может быть привилегией одного класса, одной касты... Основание народного единства есть язык, стало, он должен быть всем понятен, всем доступен». Русский язык должен приноровиться «ко всем потребностям; когда все можно будет сказать по-русски. А для этого надо, чтобы наш язык развил все свое богатство... наладился на все тоны, применился ко всем идеям. А это должна дать ему литературная деятельность, литературная практика», которая возведет его «на степень всеобщей национальной речи».

Таким образом, «народный язык» должен получить широкое и свободное универсальное литературное развитие. Между тем, «после вековых опытов и усилий мы дошли до совершенного разделения между живой народной речью и книжным литературным словом. Как быть литературе русской, когда нет еще языка русского?» «Писатели не понимают друг друга, общество не понимает писателей; чернь восстает на ученых; ученые с презрением дают чернь тяжелыми фразами. Какой будет конец всему этому? Вавилонская башня не достроилась; не построить и нам литературы, если мы не условимся в языке, не будем все говорить одной речью» («Европеизм и народность»).

Надеждин сформулировал с безупречной ясностью и научной точ-

ностью сущность литературно-языковой проблемы, стоявшей перед Пушкиным.

Карамзинский язык — сословно-замкнутый, обособленный книжный «диалект». Западно-европейское влияние используется как новое средство обособления литературной речи. Карамзинисты правы в критике «славян»-шишковистов, а последние правы в критике «европейцев»-карамзинистов. Это — «спор славян между собой», две фракции одного и того же лагеря — дворянско-крепостнического противодействия широкой национализации литературной речи. Карамзин, который, по выражению Белинского, «презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов», — сходится в самом главном со своим врагом Шишковым, недвусмысленно заявившим: «Употребление простонародных слов и речений в важном слоге испортит совсем вкус наш». Таким образом, именно в этом пункте — и в теории и на практике — у них не было никаких расхождений. В известном отношении Шишков оказывался даже демократичнее Карамзина: он отвергал «простонародные слова и речения» в «важном» слоге, следуя ломоносовской теории разделения стилей и диалектов, а Карамзин вовсе не допускал их в литературу.

Как видим, борьба за подлинно национальный литературный язык в пушкинскую эпоху сложилась в основном как борьба с двумя течениями. Но к тому историческому моменту, когда Пушкин возглавил эту борьбу, фронт «антишишковский» имел уже второстепенное значение. Напротив, «антикарамзинский» фронт оставался важнейшим. Был еще и третий фронт, который можно назвать антимеркантистским. Но это был третьестепенный участок борьбы, роль которого выяснится в дальнейшем.

V

В обстановке напряженной и противоречивой общественной борьбы складывался новый литературный язык, и нельзя ни на минуту забывать о конкретно-исторических перипетиях этой борьбы, если мы хотим понять действительный смысл и значение чрезвычайно важных высказываний Пушкина о языке. Важных не только потому, что они принадлежат великому писателю: они освещают принципиальную сторону языковой практики Пушкина. Нельзя забывать, что Пушкин был не кабинетным филологом, а отважным борцом за новый язык и что характер его теоретических высказываний определялся ближайшими условиями борьбы, стратегической целью и тактическими возможностями вплоть до возможностей цензурных. Высказывания Пушкина изменялись в связи с переменами в ходе борьбы и с эволюцией его собственных взглядов. Так, например, высказывания о языковой деятельности Ломоносова своими противоречиями отражали противоречивый ход общественной борьбы за язык литературы и закономерные изломы в развитии пушкинского отношения к данному вопросу.

Начав литературную деятельность как карамзинист, член «Арзамаса», Пушкин уже в поэме «Руслан и Людмила» и более решительно с середины двадцатых годов порывает с карамзинизмом и занимает резко отрица-

тельную позицию по отношению к основным языковым и стилистическим принципам этого направления. В борьбе с денационализаторскими и антидемократическими тенденциями карамзинистов Пушкин полемически резко выдвинул и подчеркнул положительное значение Ломоносова: «Слог его ровный, цветущий и живописный заимлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным. Вот почему предложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие подражания. Они останутся вечным памятником русской словесности; но нам долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему» («Предисловие Лемонте», 1825). Немного выше в этой же заметке Пушкин в кратком историческом экскурсе указал, что в царствование Петра I язык начал «применно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастью явился Ломоносов».

О чем свидетельствуют эти высказывания Пушкина?

Прежде всего об историческом подходе к вопросу языка. Пушкин стремится осмыслить и учесть необходимость пройденного языком исторического пути развития: поскольку язык наш сложился исторически так, а не иначе, необходимо считаться с этим, чтобы успешно двигать его дальше, учитывая уроки истории. И Пушкин указывает: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (там же).

Во-вторых, о борьбе против карамзинизма. Отгороженному от «простонародного языка» «дворянскому кружковому жаргону», который формировался, по выражению Кюхельбекера, следующим образом: «Без пощады изгоняются из него все речения и обороты славянские и обогащают его архитравами, колоннами, баронами, траурами, германизмами, галлицизмами и барбаризмами...», Пушкин противопоставляет ломоносовское стремление к синтезу старокнижной и народной речи, усматривая в этом синтезе реальный путь к образованию национально-литературного языка. Использование в известных пределах и функциях книжной славянской «стихии» представляется более естественным и сообразным с точки зрения национально-демократического развития литературной речи, нежели исключительная опора на иноязычную западно-европейскую «стихию», поскольку эта опора и лозунг «европеизма» — как об этом писал впоследствии Надеждин — приводил к новому обособлению и отрыву литературного языка от народной речи. Кроме того, Пушкин, указывая на необходимость литературного освоения неприемлемого для карамзинистов «простонародного языка», в то же время возражает против искусственного сужения структурных и семантических возможностей в результате огульного отказа — во имя «хорошего вкуса» светского общества — от старокнижного наследия, от грубой, доморощенной «славянизмы».

В-третьих, анализируемые высказывания Пушкина свидетельствуют о борьбе против пинжовско-славянского лагеря. Пушкин вовсе не соли-

даривается ни с шишковским лагерем, ни с Ломоносовым и его «реформой». Обратим внимание, что 1) Пушкин ни слова не говорит о ломоносовской теории, о «реформе» литературного языка — разделение на три диалекта — стиля, но зато 2) указывает на «счастливые слияния» в литературной практике Ломоносова языка: книжно-славянского и «простонародного» и притом 3) в узко-определенном кругу «лучших произведений» Ломоносова, написанных стихотворной речью, а именно: «преложения псалмов» и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг; 4) Пушкин не признает достижением не только теорию «трех-стилей», но и прозаические опыты Ломоносова и образцы и правила «классического красноречия», — он обходит все это многозначительным молчанием; 5) ограничивая признание церковно-славянского языка одним из «источников» образования поэтической речи, Пушкин умалчивает, однако, о том, что же является ведущим началом в «счастливом слиянии» — церковно-славянская или «простонародная» речь.

Совершенно ясно, что перед нами не столько рассуждение о Ломоносове и его оценка, сколько злободневная, чрезвычайно искусная и очень острая, хотя завуалированная, полемика с двумя течениями. Пушкин не принимает ни языковой теории, ни практики Ломоносова, за исключением одного частного момента этой практики, и это было очевидно для всякого внимательного и вдумчивого читателя. Не менее очевидно, что он отвергает шишковский принцип универсальной опоры литературного языка на церковно-славянское наследство с безусловным приоритетом последнего, вплоть до сохранения глубочайших архаизмов. Всеобщую для всего литературного языка структурно-семантическую роль церковно-славянизмов Пушкин фактически ограничивает здесь сравнительно узкими пределами стилистико-семантической функции «библейзмов» в поэтической речи. От шишковской апологии ломоносовских принципов и достижений пушкинская позиция отличается самым коренным образом. Но Ломоносов понадобился Пушкину для удара по карамзинизму.

Спустя десять лет, в изменившейся обстановке литературно-языковой борьбы, Пушкин снова заговорил о Ломоносове, но на этот раз совсем в другом тоне и плане — уже не как о прозорливом поэте, открывшем «истинные источники нашего поэтического языка», а как о «профессоре поэзии и элоквенции» и как «об исправном чиновнике». «Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокомерность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым» («Мысли на дороге. Ломоносов», 1833—1835).

О ломоносовской прозе, как и следовало ожидать, отзыв не менее суров. По вопросу о роли церковно-славянской речи в образовании литературного «общепопятного» языка Пушкин (правда, в черновом варианте этой статьи) высказался теперь открыто и недвусмысленно: «Убедились ли мы, что славянский язык не есть язык русский и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счаст-

ливо могут быть заимствованы из церковных книг в нашу литературу, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать: *да лобжет мя лобзанием*, вместо «целуй меня» и т. д. Конечно, и Ломоносов того не думал, он предпочел изучение славянского языка как необходимое средство к основательному знанию языка русского».

В тридцатых годах Пушкин, таким образом, пришел к окончательному заключению, что не может быть и речи ни о каком равноправии, а тем более о приоритете церковно-славянизмов в литературном языке: они могут, по мере надобности, заимствоваться и входить, подвергаясь пересмыслению, в систему русского литературного языка, основной базой которого Пушкин, как увидим ниже, признал народное просторечие. И Пушкин высказался о ломоносовском языке и стиле с полной откровенностью и прямолинейной резкостью не только и, быть может, не столько потому, что он пришел к более радикальным убеждениям, сколько по той причине, что старая тактика больше не была ему нужна. Теперь же тактические соображения потребовали благосклонного, положительного отзыва о пронизанной славянской и древнерусской архаичкой прозе Карамзинской «Истории», язык которой заслужил одобрения самого Шипкова («Карамзин в «Истории» своей не образовал язык, но возвратился к нему, и умно сделал»). И, конечно, было бы грубой ошибкой на основании этого изолированного высказывания Пушкина сделать вывод, что язык и стиль карамзинской «Истории» он считал образцовыми.

VI

На примере, послужившем для доказательства, что пушкинские высказывания о языке и стиле требуют специальной расшифровки их подлинного смысла и значения, был продемонстрирован один из тех основных принципов, которыми Пушкин руководился в борьбе за новый литературный язык.

Еще до того, как оформились его взгляды на роль церковно-славянизмов, в начале двадцатых годов, он в соответствии с общим принципом карамзинистов стремился исключить из своего языка архаическую церковно-славянскую лексику, как-то: *пременно, длань, куша, воитель, брань* (война), *сретать* и др., освобождаясь в значительной степени и от неассимилированных фонетических и морфологических черт церковно-славянской речи: 1) от произношения в ударяемом слоге перед твердым согласным звука *e* вместо русского *ě* (*полет* вместо *полѣт*, *побеждѣн*, *просвещѣнный*, *возжѣнный*, *весѣлой*, *поднѣс*, *лѣт* и пр.); 2) от неполногласных форм вместо полногласных русских (*млад*, *драгой*, *златой*, *стржет* и др.); 3) форм родительного падежа единственного числа имен прилагательных женского рода — *-ья, -ия* вместо *-ой* (*алья, великия, сребристыя, отческия* и др.); 4) от глагольных форм с приставкой *воз-* вместо эквивалентных: *за- по- на-* (*возопил, возжег, возложит*); 5) от произношения *шч* (*ш*) вместо *ч* (*ношь, полмошный*) и т. п. Заметим, кстати, что заочно с указанными церковно-славянскими особенностями Пушкин к двадцатым годам сокращает использование русских архаических форм,

характерных для старого литературного языка: бесчленных прилагательных и причастий в функции определений (*темны очи, ретивы кони, искусством превращенну* и т. п.).

Однако эта борьба против обособления литературной речи при помощи церковно-славянизмов, борьба против «пережитков» славянизированного «высокого штиля» не решала вопроса о роли церковно-славянизмов в новом литературном языке. После периода борьбы с прежним положением вещей должен был наступить для Пушкина период практического разрешения вопроса об использовании по-новому церковно-славянского наследства. Необходимость же его всемерного использования никогда не возбуждала в исторически мыслявшем Пушкине никаких сомнений. Литературная практика, ее нужды и требования, подсказали Пушкину пути разрешения этого вопроса.

Во второй половине двадцатых и в тридцатых годах Пушкин обращается к новым литературным жанрам. Перед нами — своеобразное воскрешение одической лирики с ее стилистической установкой на ораторский тип речи, историческая трагедия и поэма, требующие признаков времени и места действия, «народная» сказка и «подражания» Корану, библейские мотивы и «фламандской школы пестрый сор», Испания и конец русского средневековья, а в области прозы, помимо сложных повествовательных форм с элементами стилизации и пародии, — журнально-публицистические и исторические опыты.

В прямой связи с жанровыми исканиями и усложнившимися задачами художественного изображения Пушкин стремится к расширению и углублению системы выразительных средств. Он не склонен считать литературный язык настолько выработанным и определившимся структурно, чтобы можно было стабилизировать его состав и закрепить его строгими нормами и правилами. Пушкин вообще не сочувствовал чопорной правильности языка, понимая под нею дворянско-классовую, стилистически ограниченную, структурно-обедненную регламентацию словаря, оборотов и форм литературной речи.

По мысли Пушкина вообще нужно было еще искать и разрабатывать всеобщий литературный язык, который подлежит нормализации. Напомним высказывания Пушкина. В 1824 г. он писал: «У нас еще нет ни словесности, ни книг; все наши знания с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных; мы привыкли мыслить на чужом языке... Просвещение века требует важных предметов для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими и грушками. Но ученость, политика, философия по-русски еще не изъяснялась. Проза наша так мало выработана, что даже в частной переписке мы принуждены создавать обороты для понятий самых обыкновенных» (подчеркнуто Пушкиным). А Погодину по поводу его трагедии «Марфа Посадница» Пушкин писал о необходимости дать языку больше воли: «Вы неправы до бесконечности и с языком поступаете, как Иоанн с новым городом. Ошибка грамматических, противных духу его усечений, сокращений, — тьма. Но знаете ли? И эта беда не беда. Языку нашему надобно воли дать более, разумеется, сообразно с духом его. И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность» (1830)

И вот Пушкин обращается за материалом к «славенщизне», но совершенно по-новому и с неожиданной, на первый взгляд, стилистической целью борьбы за краткость и простоту выражения. Историческое значение этого нового обращения вскрыл сам Пушкин в письме к П. Вяземскому: «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похвальность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали» (1823).

Итак, обращение к церковно-славянскому материалу проходило под знаменем борьбы за национальное самоопределение литературного языка и за новую стилистическую норму «грубости и простоты», против денационализаторских и аристократических тенденций карамзинизма и его однообразных и узких сословно-классовых стилистических норм: непрямого, манерного выражения — «жеманства и утонченности». При этом Пушкин, используя церковно-славянизмы, обычно отрывал их от клирической идеологии, изымал из той особой семантической атмосферы, которая плотно окружает систему старорусской речи, и погружал в иную семантическую и структурную среду. Этот процесс сопровождался по большей части процессом своеобразной ассимиляции (церковно-славянизма в связи с его переосмыслением («обмирщением») и с переменной стилистической функцией. Попадая в качественно иную, далекий контекст, церковно-славянизмы, взаимодействуя с руссизмами, претерпевали семантические сдвиги и фонетико-морфологические изменения в направлении общего движения национальной речи. Но далеко не всегда процесс этот протекал быстро и гладко.

Смещение и скрепление выражений, переплавка разнородных фразеологических элементов в контексте утверждающейся национальной речи, возникновение новых значений, новых семантических связей, взаимно обусловленных смысловых схождений и различий — этот важнейший процесс вызывал естественную реакцию протеста со стороны консервативных представителей старого, в основе своей донационального литературно-языкового сознания, со стороны приверженцев разделения и ограничения, т. е. литературных диалектов и надстроенных над ними стилей. Вот наглядные примеры приспособления церковно-славянизмов в процессе скрепления и смешения с русскими или обрусевшими выражениями:

Явился ты в Ферней, и циник посадельный,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,
Свое владычество на Севере любя,
Могильным голосом приветствовал тебя.

(«К Вельможе», 1830)

Церковно-славянизм *вождь* (под которым разумеется здесь Вольтер, как это очевидно из контекста) претерпевает сложный семантический сдвиг, будучи тесно связан прежде всего с галлицизмом *моды* и с просторечным словом *пронырливый*. Глубокие изменения, связанные с переносом значения, переживает и церковно-славянизм *владычество* по связи

с контекстом. В этом же стихотворении есть выражение «сей двойственный *собор*», где церковно-славянский *собор* выступает в значении английского парламента (нижней и верхней палаты общин и лордов); впрочем, здесь имелся семантический мост в виде старого значения этого слова во фразе: «Государь Царь и святейший Патриарх на *соборе* с бояры приговорили» (Указан. кн. царя Михаила Феодоровича) (ср. *земский собор*).

Другой образец:

Зима! Крестьянин *торжествуя*
На *дровнях* обновляет путь

(«Евгений Онегин», V, II)

По поводу соединения церковно-славянизма *торжествуя* с «вульгарным» руссизмом *дровни*, один из критиков писал с раздражением: «В первый раз, я думаю, *дровни* в завидном соседстве с *торжеством*» («Атеней», 1828, № 4). Для критика эти слова принадлежали к различным диалектам, смешивать которые непозволительно, «чтобы не опуститься в подлость».

В избушке, распевая, дева
Прядет, и зимних *друт* *ночей*,
Треплет лучинка перед ней

(«Евгений Онегин» IV, 41)

По поводу этих стихов Пушкин писал в примечаниях к роману: «В журналах удивлялись, как можно было назвать девою простую крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы *девчонками!*» Здесь имеются в виду следующие стихи:

Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране.

(«Евгений Онегин» V, 28)

Церковно-славянская *дева* из «высокого стиля» оказалась, с точки зрения критиков, в неподобающем семантическом окружении, которое выражает «низкое» содержание, отражает «низкую» действительность. А слово *девчонки* — из вульгарного диалекта и «низкого стиля» — приурочено к более «важной-материи» по социальному рангу. Пушкин сознательно и систематически смешивал и скрещивал эти «диалекты» и соответственные стили речи, сообщая им богатство и разнообразие функций.

Но следует отметить использование Пушкиным церковно-славянизмов и с более узкой и специальной целью, с точки зрения их функции. В поэтическом языке, т. е. в той разновидности общелитературной речи, которая служит специфическим задачам художественного изображения, Пушкин щедро обращался к церковно-славянскому материалу для социальной характеристики персонажей, для сообщения местного и временного исторического колорита («Борис Годунов», «Полтава», «Медный

всадник»). И в большинстве случаев этого рода церковно-славянизмы — их множество — оставались на периферии литературного языка, служа так или иначе средством стилизации. Пушкин очень широко культивировал стилизацию, которая позволяла вовлекать в литературу и соединять самые далекие языковые и стилистические сферы.



Иллюстрация художника Свистальского к III главе
„Евгения Онегина“

Так, например, в «Подражаниях Корану» (1827) особый колорит под-держивается стилизующими церковно-славянизмами, выступающими здесь уже не как «библизмы», а на амплуа, если можно так выразиться, стилистических «коранизмов» или «церковно-арабизмов».

Кого же в сень ушпокоенья
Я ввел, главу его любя..
Брегитесь суетами света
Смутить пророка моего
В пареньи дум благочестивых
Не любит он *велеречивых*..
И все шред бога притекут.

Очень резко соединение несоединимых вчера еще языковых сфер и напряженное колебание стилистических тональностей представлено в «Подражании Данту», «И дале мы пошли...» (1832), а еще резче в пародиях, метод которых можно рассматривать как разновидность метода стилизации.

Наконец, церковно-славянизмы, часто архаические, были призваны противопоставить французскому жеманству простую, грубоватую, «национальную» величавость стиля возрожденной оды и медитации, а также служить средством организации ораторски оснащенного языка политической лирики.

В прозе нас встречает аналогичная картина: «Повести Белкина» и «Капитанская дочка» стилизованы, а «История села Горюхина» — пародия на Карамзина. И в прозе мы встречаем стилизующие церковно-славянизмы — в «Повестях Белкина» даже в виде цитатообразных фраз: *сие да будет сказано не в суд и не в осуждение* («Барышня — крестьянка»); *смиренная, но отрядная обитель* («Станционный смотритель») и т. п. А в «Пиковой даме» резко означенные церковно-славянизмы, помимо своей характеристической роли в отношении проповедника и обряда похорон графини, проливают на повествование пронический свет внутреннего противоречия, приносимого ими в смысл повествования, и даже насмешливой двусмысленности:

«Славный проповедник произнес надгробное слово В простых и трогательных выражениях представил он мирное усупение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине». *«Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полнощного...»* (гл V)

В исторической прозе («История пугачевского бунта») церковно-славянизмы, помимо известной стилизационной роли, (легко ощутима тенденция ориентироваться на архаизованный способ выражения), выполняют функцию материала для выработки терминологии отчасти научного языка — в широком смысле, отчасти публицистического. В прозе исторической, публицистической церковно-славянизмы служили, с одной стороны, для выработки способов закрепления отвлеченных понятий с их оттенками, а с другой — для сообщения языку аргументативной экспрессии. Вот один из многих образцов:

«С наслаждением смотрел он на канал, наполненный нагруженными барками: он видел тут истинное земли изобилие, избытки земледельчества и во всем его блеске мощного побудителя человеческих деяний — корыстолюбие» («Мысли на дороге», Вышний Волочек, 1833—1835).

В высшей степени характерно отношение Пушкина к церковно-славянскому союзу *ибо*, который еще до Пушкина выступил в роли показателя причинного подчинения предложений. Параллельно существовали в той же роли союзы *потому что*, *так как*, *для того что*, *зانه*, *понеже* и ряд других. Национально-литературный язык стремится к четкому оформлению и строгой нормализации синтаксиса сложно-подчиненного предложения. Из хаотического наследства донационального периода в виде множества полисемантических союзов отбираются сравнительно немногие, и эти отобранные союзы получают новое национальное качество. Во-первых, союз приобретает строго определенное значение и синтаксическую роль — преодолевается былой полисемантизм; во-вторых, союз стремится к тому, чтобы стать единым синтаксическим выразителем данной катего-

рии связи, преодолевая множество подобно значащих союзов, и, в-третьих, союз стремится к универсализму своего значения и роли: выражение данной категории связи и отношения получает характер всеобщности и абстрактности (например, причинной связи вообще) в любом ее проявлении, во всех областях действительности.

В соответствии с этим мы наблюдаем в языке Пушкина следующую картину. Пушкин отказывается от ряда бывших ранее в ходу причинных союзов, в том числе и от союза *для того что*, широко употреблявшегося еще Карамзиным в причинном значении, и использует, в подавляющем большинстве случаев, один из трех союзов: *потому что*, *ибо*, *так как*. С гениальной прозорливостью он остановился на тех именно союзах, которые прочно закрепились впоследствии в национально-литературном употреблении. При этом Пушкин сообщает церковно-славянскому союзу *ибо* особую функцию — либо стилизаторскую (например, в «Калитанской дочке»), либо — что очень существенно — роль аргументативно-экспрессивного стиля (в публицистической прозе *ибо* встречается очень часто в противоположность, например, «Дневнику», где, вместо *ибо*, представлены только союзы *потому что* и *так как*). Именно как средство аргументативного стиля, с особым оттенком значения, *ибо* в качестве причинно-подчинительного союза получило широкое развитие в национально-литературной практике.

С точки зрения общесторической существенен не столько самый факт наличия у Пушкина тех или иных церковно-славянизмов — многих из них нет уже у Лермонтова, — сколько общий принцип и конкретные методы использования церковно-славянского наследства для организации национального литературного языка.

VII

Принцип и соответствующие методы скрещения и смешения элементов различных «враждебных диалектов» и стилей имели для работы Пушкина над языком универсальное значение. Переплавка их в горниле литературной практики, освобожденной от оков дворянской нормализации и принудительной жанровой иерархии, — это было основным путем организации национально-литературного языка.

Наряду с церковно-славянизмами Пушкин использует и другое литературно-языковое наследство — древнерусское (летописное)

Пришла славянская дружина
И развила победы стяг,
Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх
Ты притвождал свой щит булатный
На цареградских воротах.

(«Олегов щит», 1929)

А наряду с церковно-славянизмами и с литературными древне-русскими привлекаются, опять-таки в соответствии с особыми стилистиче-



Худож. Соколов

Евгений Онегин

скими задачами — традиционные элементы приказно-бюрократического языка:

Смирив крамолу и коварство
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили,
Нас жаловал страдальца сын.

(«Моя родословная», 1830)

Или в прозе — то в виде открытого «цитатного» ввода бюрократических образцов языка (например, текст определения суда в «Дубровском», то в более усложненной форме:

«Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие и явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законом время просить по апелляции куда следует» («Дубровский»).

Но совершенно исключительную историческую роль сыграло обращение Пушкина к «простонародному языку», т. е. к широкому народному просторечию.

VIII

Ряд высказываний Пушкина свидетельствует о глубокой принципиальности его обращения к народной речи.

«В зрелой словесности, — писал Пушкин в 1928 г., — приходит время, когда умы, насуща однообразными произведениями искусства, опраниченного кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию».

Таким образом, Пушкин считает, что «зрелой словесности» нужен демократический литературный язык. И он выступает в защиту «просто-народного языка», т. е. речи крестьянской и мелкобуржуазной массы города: «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающих, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований... Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвириям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком» (1830). В 1828 г. в заметке об «Евгении Онегине» он советует молодым писателям читать простонародные сказки, «чтоб видеть свойство русского языка».

Он задумывается над проблемой народного искусства и спрашивает: «Драматическое искусство родилось на площади для народного увеселения. — Что нравится народу, что поражает его? Какой язык ему понятен?...» (1830).

Вот вопрос, который с небывалой ясностью и глубиной поставил перед собой и перед всей литературой Пушкин. Самая постановка этого вопроса была историческим событием.

Он обрушивается на литераторов, которые «толкуют вечно о будуар-

ных читательницах» и притязают на «тон высшего общества». Эти литераторы «поминутно находят одно выражение бурлацким, другое мужицким, третье неприличным для дамских ушей и т. п.». Он возражает тем, кто «гнушаются просторечием и заменяют его просто-мыслием» («Отчето издателя...», 1830). «Если бы «Недоросль», сей единственный памятник народной сатиры... явился в наше время, то в наших журналах... с ужасом заметили бы, что Простакова бранит Палашку *канальей и собачьей дочерью*, а себя сравнивает с *сукою* (!!). «Что скажут дамы, — воскликнул бы критик, — ведь эта комедия может попасться дамам!» — В самом деле страшно! Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать!» («Мы так привыкли»..., 1830).

В полном соответствии с занятой позицией — ниспровержением старых литературно-языковых канонов, установленных «европейски-просвещенным» крепостническим дворянством, и защитой литературных прав народной речи, — Пушкин отстаивал свою «еретическую» практику. По поводу языка своей поэмы «Полтава» он писал: «Слова: *усы, визжатъ, вставай, рассветает, ого, пора* показались критикам *низкими и бурлацкими* выражениями. Как быть! Никогда не пожертвую краткостью выражения провинциальной чопорности из боязни казаться простонародным, славянофилом и т. п.» (1830). Замечательно, что критиком, которому возражал Пушкин, был не кто иной, как Н. Надеждин...

Уже в «Руслане и Людмиле» (1820) критика обнаружила «низкие» выражения: *басурман, всех удавлю вас бороною, колдун упал да там и сел* и т. п., а рифму *кругом* — *кошем* назвала «мужицкой» (Воейков, «Сын отечества», 1820, № 36). А «Вестник Европы» писал по поводу стиля поэмы: «Если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бороною, в армяке, в латтях и закричал бы зычным голосом: «Здорово, ребята!» — неужели бы стали таким проказником любоваться?» (№ 16, 1820). Тем не менее в языке этой поэмы широкое просторечие играло еще сравнительно скромную роль, хотя и придало стилю известный характер «бурлескности» и «низкой шутки», по выражению критики.

Решительный поворот к народному просторечию начинается в середине двадцатых годов, с того момента, как Пушкин осознает себя как национального писателя, дело свое как дело национальной литературы. Отсюда же берет начало пушкинский путь к реализму.

Он пересматривает и заново решает самый общий вопрос литературного стиля и объявляет об этом в «Путешествии Онегина».

Смирнулись вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косягор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор.

На небе серенькие тучи,
 Перед гумном соломы кучи —
 Да пруд под сенью ив густых,
 Раздолье уток молодых;
 Теперь мила мне балалайка
 Да пьяный топот трапака
 Перед порогом кабака.
 Мой идеал теперь — хозяйка,
 Мои желанья — покой,
 Да щей горшок, да сам большой.

Вся эта поэтическая декларация была революционным вызовом «просвещенному вкусу». Вызовом была и заключительная крестьянская поговорка: *щей горшок, да сам большой*, послужившая в свое время специальным материалом для статьи под названием «Некоторые черты дурного вкуса» («Российский музеум», 1815, II.).

Это был решительный удар по всему фронту дворянско-крепостнической поэзии, которая исключала, как это мы знаем от самого Карамзина (например, письмо к И. И. Дмитриеву, 1793), даже слово *парень* из своего языка. Это был сокрушительный удар по классово-препарированному, отгороженному от народного воздействия литературному языку, призванному лакировать действительность и заслонять «отвратительный» для «просвещенных» крепостников мир «мужика».

В сознании Пушкина проблема национальной литературы, литературного языка на широкой народной основе и нового литературного стиля, чуждого «высокопарных мечтаний», предстояла в нерасторжимом и целостном единстве и взаимосвязи этих своих основных частей. Подойти вплотную к народу, заимствовать у него, чтобы переработать полученное и вернуть народу, — вот дело писателя. Отсюда — пушкинский национализм, не метафизический и не зоологический, а реалистический, основанный на чувстве и на идее историзма, поразительно глубоко заложенного в сознании Пушкина. Отсюда — исключительный интерес к истории своей родины, своего народа, языка, даже своего собственного рода, интерес к прошлому, который проясняет настоящее в его необходимых, историей обусловленных чертах и позволяет повернуться к будущему: *«Здравствуй, племя младое, незнакомое...»* Это сознание теснейшей кровной связанности с историей своего народа и страны, с тем, что было, и ответственность за то, что будет, продиктовало, вероятно, Пушкину замечательные слова: «Только революционная голова, подобная Пестелю, может любить Россию так, как писатель может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке» (Соч. Пушкина, изд. Академии наук, т. IX, ч. I, стр. 398).

В связи с этим вопрос о народном просторечии, как материале для литературного языка, органически сочетался с вопросом о характере литературных образов, о сюжете, о точке зрения автора. Пушкин предупреждал о печальной участи, «ожидającej писателей, которые пекутся более с наружных форм слова, нежели о мысли — истинной жизни его...

«О старой русской словесности», 1825). Для Пушкина было важно привить литературному языку богатейшую образность, в которой запечатлелся своеобразный ход образования конкретных понятий, т. е. строй мысли народного языка, — его экспрессию и реалистическую ясность, его меткость, основанную на жизненной «логике», на практике широких народных масс. Поэтому Пушкин, стремясь к «облагодетельному» языку, оставил в стороне областные элементы: провинциализмы, архаизмы и профессионализмы, за исключением отдельных частных случаев обращения к этому материалу.

Пушкин избегал всяческих элементов, которые по своей форме или семантическому наполнению противоречили, так или иначе, установке на общенациональное значение. Он с поразительным чутьем и тактом отбирал материал из формировавшейся национально-разговорной речи, из различных ее ответвлений, но поближе к ее основе — крестьянской и мелкобуржуазной.

При этом он противопоставлял «просторечие» — это понятие для Пушкина связывалось с представлением о «простонародной» речи — языку «дурного общества», для которого характерна черта «провинциальной чопорности». Это была борьба на антимещанском фронте, о которой было упомянуто выше. Под «дурным обществом» Пушкин понимал «дворян в мещанской», т. е. буржуазные круги, тянущиеся подражать «вышшему обществу» (которому, кстати сказать, Пушкин противопоставлял «хорошее общество»), а также те круги общества, которые можно назвать буржуазной и мелкобуржуазной полунинтеллигенцией: откупщик, чиновник, семинарист... Пушкину претила претенциозная смесь влетантных и витиеватых, архаических книжных элементов и разговорно-диалектных, отмеченных чертами сословно-классовой обособленности.

Что же касается методов использования широчайших пластов «просторечия», для которого Пушкин открыл все литературные пласты, то здесь нужно вспомнить сказанное выше о церковно-славянизмах. Элементы просторечия, входя в литературный язык, подвергались ассимиляции и в то же время оказывали влияние на литературно-книжное окружение. Они спрещивались и смешивались с книжными элементами. Они выступали в роли живописующих средств и речевой характеристики персонажей. Но, в противоположность церковно-славянизмам, они несли с собой в литературу новый предметный мир, который оставался нелитературным, антиэстетическим объектом для дворянской поэтики и эстетики; примером может служить вся поэма «Домик в Коломне». Затем они несли с собою систему семантических идиом, чуждых книжно-языковой культуре и взрывающих ее: *Иль у тебя двойная шкура?* («Гусар»). *Смотри, пожалуй, вздор какой!* («Моя родословная»). *Кричим: полегче, дуралей* («Телега жизни»). *Хлопнул двери ему под нос* («Станционный смотритель»). *Вытянул он пять стаканов* (там же) и т. д. и т. п.

Просторечие далеко раздвинуло пределы семантических возможностей как поэтической, так и прозаической речи, и сделало возможным реалистическое изображение жизни. Наконец, широкое вторжение просторечия определило новую опору и живую базу литературного языка: не церковно-

славянскую, не приказно-бюрократическую, не салонно-дворянскую, не буржуазно-мещанскую и не крестьянскую, а национальную.

IX

Опора на широкое национальное «просторечие» дополнялась, а отчасти даже корректировалась ориентацией на язык народной словесности. Уже приводилось пушкинское мнение о роли простонародных сказок.

В другом месте Пушкин восклицает: «Какой толк, какой смысл (и какая образность!) в каждой поговорке нашей!»... Как известно, он тщательно присматривался к фольклору, записывал песни, слушал сказки, изучал печатные источники. И в языке Пушкина представлены оба пути сближения литературного языка с народным словотворчеством: и путь сближения литературной разговорно-бытовой народной речи, и путь использования фольклорной речи, т. е. крестьянского эпоса и лирики. Фольклорные пути протягиваются к языку самых различных произведений Пушкина, иногда сливаясь, совпадая с нитями древнерусскими. Наиболее заметна фольклорная струя в языке пушкинских сказок. Оставаясь в пределах стихотворных жанров, можно сказать, что если, например, стихотворение «Отцы пустынноики и девы непорочны» представляет собой, в качестве стилизации, почти сплошную церковно-славянскую ткань, а «Утопленник» или «Домик в Коломне» — ткань просторечную, то примером почти сплошной фольклорной речевой струи является начало незаконченной сказки «Как весной теплою порою» (1830). Здесь речевая установка резко обнажена. Вот несколько примеров этой установки.

Перед нами и уменьшительно-ласкательная суффиксация существительных: *зорюшка, медвежатунки, детушка, горностаюшка, княжичишка* и т. п.; и характерное смешение форм именных склонений разных типов: *пятьдесят рублей, пяти рублей*; и формы инфинитива на *-ти*: *игрывать, наказывать, баякать* и др.; и такие приставочно-видовые образования, как: *затечался, осердилась, завидела, пожал*; и употребление энклитической указательной частицы *то, от* (след за А. А. Шахматовым — «Синтаксис русского языка», § 578, признаю не постпозитивным членом, а указательной частицей, так как она употребляется безразлично при именах существительных, и при других частях речи, даже после деепричастия, как в следующих примерах): *нож-то, смешок-то, у него-то, все-то, поклавши-то* и др.; и атрибутивные существительные в функции приложения, иногда двойного: *волк-дворянин, целовальник-еж, лисица-подъязыка, скomorox-арыжка-горностаюшка* и пр.; и прилагательное-дополнение, образующее переход от дополнения к обстоятельству и стоящее в творительном падеже (творительный усиления): *голосом завыл*; и типичная для древнерусского языка конструкция с повторением предлога, а именно: определение при дополнении, сопровождаемом предлогом, получает перед собой тот же предлог: *что из лесу, из лесу из дремучего...*, *пошли вести по всему по лесу*; и частица *ли* в повествовательно-утвердительных предложениях: *ко тому ли медведю, ко тому ли боярину* и др.; и фразовый зачин: *как, уж как: уж как я вас*

мужжю не выдам и др.; и повторения членов предложения (пример выше); и синтаксический параллелизм в конструкции положительного и отрицательного сравнения: *не звонь пошли по городу, — пошли вести по всему по лесу* и т. п.; и особенности лексики и фразеологии: *Он пускался на медведицу; он сажал в нее рогатину; у него-то зубы закусливые; на кого меня покинула; скоморох-ярыжка-горностаюшка* (где *скоморох* и *ярыжка* — также в роли древне-русских слов)...

В других сказках нет сплошной фольклорной стилизации. Элементы фольклорной речи входят в соединение с литературно-русскими и церковно-славянскими элементами по принципу скрещения и смешения и ассимиляции друг с другом. При этом нельзя не отметить поразительной черты, свидетельствующей о необыкновенно глубокой национализирующей силе пушкинской работы над языком.

Новейшими исследованиями обнаружены иностранные, западно-европейские источники пушкинских сказок. Так, «Сказка о золотом петушке» сюжетно восходит к Вашингтону Ирвингу, а «Сказка о рыбаке и рыбке» ближе всего к соответствующей сказке братьев Гримм. Но самостоятельное художественное использование источников ассимилировало чужой материал, и пушкинские сказки вошли в сокровищницу русской национальной литературы. Вообще пушкинскому гению было в высокой степени свойственно стремление раздвигать национальные рамки культуры до интернациональной широты, а чужие национальные образы и мотивы прививать русской литературе, пересаживая их на почву русской культуры. И в этом отношении важнейшую роль сыграл язык.

Именно по языку и стилю «Сказка о рыбаке и рыбке», например, настолько глубоко оторвана от своего немецкого источника, что воспринимается нашим сознанием в ряду русских народных сказок. Вот характерный образец этой национализирующей силы языка. Едва ли не главным сюжетным отличием пушкинской сказки «О рыбаке и рыбке» от немецкой является отсутствие в первой эпизода, в котором повествуется о желании старухи быть папой. Но этот эпизод, пропущенный Пушкиным в окончательной редакции, имеется в одной из черновых вариантов сказки (хранится в Публичной библиотеке им. Ленина в Москве):

Не хочу быть вольною царицей,
А хочу быть римскою папою..
... Добро будет она римскою папой.

Легко заметить, что и этому, по содержанию «нерусскому», эпизоду сразу придан специфически русский колорит своеобразием построенной по принципу так называемой «народной этимологии» языковой формы: *римскою папою*. Этого колорита народности были лишены сказки Жуковского, также черпавшего материал из западно-европейских источников, но чуждавшегося «простонародной» языковой стихии и русского фольклорного стиля.

X

Еще один источник питал пушкинский язык. Вслед за карамзинистами Пушкин был проводником французского влияния на литературную речь, но содержание, методы влияния и его границы понимал иначе. Особенно существенным это влияние оказалось в области синтаксиса. Отказавшись от неуклюжих и тяжелых форм синтаксической организации «славяно-русского» и приказано-бюрократического языка, Пушкин, вслед за карамзинистами, пошел по пути реформы синтаксиса, по «европейскому» французскому, отчасти английскому, образцу: центр фразы — глагол, подлежащее перед сказуемым, дополнение позади глагола, определение впереди существительного — вот общая «нормальная» схема. При этом избегается: 1) многостепенное подчинение внутри простой синтаксической единицы и 2) многостепенные и громоздкие сложно-подчинительные конструкции, вообще громоздкие сцепления предложений.

Сюда же следует добавить сказанное выше об упорядочении и строго определенной дифференциации способов союзного подчинения (союзы: *который, что, если, когда, чтобы, дабы, потому, что, так как, ибо*).

Принцип логической четкости и ясности, сочетаемый с принципом легкости и простоты, лежали в основе этой реформы, которая, однако, не врывалась основ русского словосочетания, а только направила на путь литературного развития имевшиеся уже в самом языке синтаксические возможности. Это были возможности интернационального схождения с высокоразвитой литературной языковой системой, возможности, коренившиеся в способах русского народного общеразговорного словосочетания.

Но, пройдя по пути этой реформы, Пушкин решительно отверг, во-первых, слепое копирование французских структур, и, во-вторых, карамзинские приемы и способы своеобразной орнаментации, шаблонов синтаксической изысканности и манерности русско-французского языка. Эта орнаментация выражалась, главным образом, в умалении роли глагола и в манерном пристрастии к выделению и нагромождению признаков и свойств предметов и, следовательно, к прилагательным, наречиям и причастиям, к определениям и приложениям, к относительным и определительным предложениям и оборотам. В прямой связи с этим находится и пристрастие к стилистическому приему перифразы как средству непрямого описательного выражения.

«Что сказать о наших писателях, — замечает Пушкин, — которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вылыми метафорами. Эти люди никогда не скажут *дружба*, не прибавя: *сие священное чувство, косо благородный пламень* и проч. Должно бы сказать: *рано поутру*, а они пишут: *едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба*. Как это все ново и свежо, разве оно лучше, потому, что только длиннее? Читаю отчет какого-нибудь любителя театра: *Сия юная титомца Талли и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном*. Боже мой, да поставь это — *молодая хорошая актриса* и продолжай... Д'Аламбер сказал однажды...» (1822). Пушкин протестовал против пустых, шаблон-

ных выражений оценки и характеристики, превращающихся в бессодержательную синтаксическую форму, загромождающих фразу и замедляющих движение речи.

Кроме того, Пушкин не принял принципов карамзинского, большей частью трехчленного, «облегченного» периода. Короткая фраза, недлинные предложения с глаголом в центре — господствуют в пушкинской прозе. Это была здоровая реакция на запутанный промоздкий строй книжной фразы.

Вот образец строя пушкинской прозы:

«Наконец, он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все супробы да овати; поминутно сани отрокидывались, поминутно он их поднимал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться» («Метель»).

Но кроме синтаксиса, французское влияние имело место в области лексики и фразеологии. Только что мы видели, как Пушкин боролся с описательно-перифрастическими оборотами, содержание которых заменено «вялыми метафорами». Это были копии французской фразеологии определенного стиля, чуждой, во всяком случае, семантическим отношениям и связям русской речи. Он протестует против метода механического перенесения и навязывания языку чужих слов и оборотов. Он против засорения русской речи галлицизмами, оставляемыми без перевода или в точности скалькированными. Он против буквального перевода. Он согласен с Шишковым по поводу неудачного слова *touchant* (копия *touchant*) и указывает, что *хладнокровие* — это слово не только перевод буквальный, но и ошибочный, так же как и выражение *в своей тарелке*... Он осуждает и смеивает всяческое дворянское пристрастие к французскому языку.

Однако Пушкин, в противоположность Шишкову, нисколько не отказывается от использования французского языка, от заимствований, устанавливая только определенные методы и границы иноязычного влияния. Во-первых, Пушкин не отказывается от тех значений слов и от тех выражений, которые прочно утвердились уже в литературной речи посредством перевода с французского. Во-вторых, он признает заимствования для называния предметов и отвлеченных понятий, если для них нет слова в русской речи: *Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет* («Евгений Онегин»). В-третьих, Пушкин признает необходимость на данном этапе развития национального литературного языка в «галлицизмах понятий», в «галлицизмах умозрительных», как он выражался, т. е. в терминах для отвлеченных понятий, в терминах научно-философского языка: «Русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться на подобие французского (ясного, точного языка прозы, то есть языка мыслей)».

Таким образом, речь шла об освоении некоторых недостающих сторон и черт путем обращения к синтаксической системе французского языка,

а не о подражании и не о замене. В языке Пушкина многочисленные галлицизмы — лексико-семантические, синтаксические и фразеологические — подвергались ассимиляции в процессе приспособления к русскому контексту, к русской языковой системе. Иногда нелегко даже их обнаружить. Но ряд галлицизмов оставался резко ощутимым и не прони-



Картина худож. М. М. Гогштейна
«Любимое место Пушкина» (скамья Онегина)

дальше периферии национально-литературного языка, например: *На царственный порог вперил смутясь он очи* («Отрывок», 1823); *Отмстит поруганную дочь* («Полтава»); *Не он ли помощь Станиславу с негодованьем отказал* (там же); *Предшествуем хоругвями святыми* («Борис Годунов») и т. п. Но характерно, что Пушкин постепенно, но ощутительно освобождался от этой французской зависимости. Все меньше прорастали в его языке явные галлицизмы.

XI

Народное «просторечие» различных слоев, фольклорный язык, древнерусская речь, церковно-славянский язык, приказно-бюрократический язык, французское влияние — вот основные ингредиенты, основные разряды лингвистического материала, которыми оперировал Пушкин и которые перешлавились в горниле его литературной практики. В этой работе титанического размаха Пушкин, начиная с середины двадцатых годов, руководился не только гениальным языковым чутьем, но в то же время

конкретными стилистическими принципами. Он руководствовался требованиями «истинного вкуса».

«Истинный вкус, — писал он, — состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». Это было новым принципом языка и стиля. Писатель ограничен не каким-либо алтриорным отбором средств выражения, не каким-либо литературным «диалектом» и стилистическим каноном, а только общими законами своего языка. А этот язык многогранен и един, но он содержит в себе пласты самой разнообразной стилистической тональности и окраски. Это — национальный литературный язык.

«Сообразность и соразмерность» были реалистическим принципом языка. Пушкин был глубоко чужд всяческому пережиткам литературно-языкового фетишизма. Он знал, что «мысль — истинная жизнь» языка и поэтому отвергал и «чопорную правильность» и пуристическую опеку над словом, и произвол грамматик, игнорирующих употребление. А с другой стороны, он восставал против дворянской буржуазно-мещанской порчи и засорения языка.

Он боролся, наконец, за строгое соответствие выражения содержанию, против орнаментации, маньеризма, преднамеренной сложности речи, против слов и фраз-пустышек, против бессмысленного словесного узора. Его принципом было требование «нагой простоты», точности и краткости литературного выражения: «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже в прозе мы гоняемся за обвешивальными украшениями, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем. Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность» (1828). А, между тем... «точность и краткость — вот первые достоинства прозы (1822).

Эти пушкинские принципы находились в глубочайшей гармонии и с его общими лингвистическими идеями и с его конкретной языковой практикой во всем ее изумляющем многообразии. И Пушкин является не только создателем нашего современного литературного языка, но и творцом наших общих стилистических принципов.



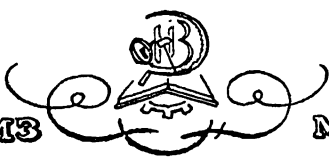
ЖУРНАЛ „РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ“



СТИЛЬ И ЯЗЫК
А. С. ПУШКИНА

(1837 - 1937)

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ПРОФ. К. А. АЛАВЕРДОВА

УЧПЕДГИЗ  МОСКВА
1 9 3 7